

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

Однажды в комментарии перед песней о водителе «МАЗа» Высоцкий сказал, что автор ее — Михаил Анчаров, на песнях которого он учился. «Я вышел из МАЗа», — шутил он. Потом он спел еще одну песню Анчарова.

«Парают рванулись, приняли вес. Земля всколыхнулась едва. А внизу — дивизии «Эдельвейс» и «Мертвая голова»...»

..В тот вечер, онаявшись на четырнадцатом этаже дома на углу Садово-Триумфальной и Чехова, я долго не нажимала кнопку звонка. Встреча предстояла необычная.

Дверь открыл сам Михаил Анчаров. Провел в кабинет, который не совсем был похож на писательский. На столе лежали тюбики из-под красок, кисти. На стенах в самодельных подрамниках холсты. Вскоре выяснилось, что автор картин — хозяин. Московский бард. Писатель.

«Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце на стропе беззвучно мешало вести разговор». — Я не знаю, — сказал он, — что имеет право считать себя учителем. Для меня Владимир Высоцкий — самородок. И этим все сказано...

быть художником. Надо было левой рукой скопировать рисунок. У Анчарова копия получилась, но война помешала закончить институт. И теперь его терзала мысль: должен ли он снова поступать учиться.

Жизнь захлестывала впечатлениями, а нужно было искать свою тропку. Однажды он оказался на Волконке перед Музеем изобразительных искусств. К входу тянулась длинная очередь. Он прибил к толпе. Его подхватило и понесло внутрь. Опомился он только в зале перед картиной, на которой изображена голова апостола. Он смотрел на голову апостола, на темные тени под бровями, где ады-вались глаза, на мастер- и выписанный крутой лоб, и его била дрожь. И жизнь его была определена с того момента.

Он оставил техникум хлебопечения, где реставрировал багетные рамы, и решил поступать учиться. На случай провала сдал документы сразу в два института. И сразу в оба — ВГИК и Суриковский — поступил. Нужно было делать выбор. И он предпочел Суриковский, так как намеревался писать великие полотна. Но,

мещении без сцены и зрительного зала. Успех был шумный, но артистам некуда было выходить кланяться.

Как-то ему позвонил приятель и предложил написать сценарий. Анчаров сразу согласился не дал. Но в тот же день в метро, в битком набитом вагоне он исписал все билеты, которые нашел в кармане (тогда вход в метро был по билетам) — и это были наброски будущего сценария. Фильм должен был быть о любви советского парня к китайской девушке. Но замысел пришлось оставить. Для Анчарова начался период провальных сценариев. «Голубчик, — говорил ему Довженко, — вам нужно пробовать себя в режиссуре. Только это может прожрать вашу неумную энергию». Но Анчаров упорно продолжал писать сценарий за сценарием. И вдруг — удача, хотя он утверждает, что случайность — дополнение неизбежности. Он принес на телевидение сценарий, сняв фильм по которому, члены киносъемочной группы стали знаменитыми. Это был телесериал «День за днем». Появился он потому, что Анчарова... проглядели. Так получилось, что никто не лез и не правил. Договор был заключен на две серии, потом продлили на шесть, потом на девять. Актеры не ожидали продолжения и выкладывались на каждой серии. Это была киноповесть — непредсказуемая, как жизнь.

— Меня волновали судьбы, скрытые за стенами коммунальной квартиры, и не устраивал взгляд на нее, как на какой-то кастриально-склочный бедлам, где ничего значительного не может произойти. Вздор! Там живут люди, а жизнь людей значительна.

После девятой серии опять потребовали продолжения, а он уже, по его словам, был пуст. Тогда его стали учить: не все время держите героев в квартире, отправьте на стройку, и вообще, почему они у вас живут в коммуналке, когда кругом строятся новые дома. «Хватит баловаться!» — Анчаров взорвался. — Я не дрессированная обезьянка». Хлопнул дверью и уехал с телевидения.

Теперь он снова один на один с жизнью. Без денег. Без семьи. Без работы. Без сил и желания работать. И тут он четко осознал, что именно сейчас, когда он загнан за красивые флажки, — или никогда! — надо писать. И стал перелистывать сценарий в прозу.

В редакции «Юность», куда он принес повесть, ему велели позвонить через месяц. А через несколько дней раздался звонок. Звонила редактор из «Юности» и что-то кричала. Анчаров слушал и пытался понять: крик ее со знаком плюс или со знаком минус? А она: «Будем печатать вашу «Теорию невероятности»! Настроение из могилы — сразу небесное: а может быть, правильно, что не хватало сразу за прозу, что-то зрело все это время в нем и он чувствовал, что это еще не потолок? Или, может, во всем виноват был апрель? За окном звенел апрель. И в его жизни начиналась весна.

«Теорию невероятности» поставили в театре. В журнале «Москва» шел его «Золотой дождь». Правда, он прочитал верстку и заболел: все выхолощено. «Мясца» нет. И тогда решил, что редактор — это человек, который находит лучшие места и выбрасывает их. И горит «верняк». Выходит халтура. Его душу не прорубишь. А писатель для него подобен повальной бабке. Он должен помочь человеку открыть в себе то, что таит зерно пламенного растения — чудо обновления души, о котором писал Грин. И потому эти зерна так щедро сам разбросал Анчаров по своим повестям. В предисловии к «Самштовому лесу» французское издательство «Анрополь, Пассаж, де ля Пети-Бушера» писало, что анчаровские герои умеют изобретать не механизм личного успеха, а дар обновляться.

В кабинете Михаила Леонидовича висит его картина «Легун» — универсальная иллюстрация ко всем его повестям. Гордо аскинув голову, ликуя от восторга, летит на самодельных крыльях над современными домами бесшабашный мужичок. В давние времена на Руси сделал простой мужик себе деревянные крылья, прыгнул с ними с колокольни и сожгли — «не птица, летать не имеет». Анчаров писал его для диплома, но картину не приняла комиссия. «Его отвергли, — шутит писатель, — а он летит».

...Анчаров потянулся к новой палке «Беломорканала», которую он, по своему обычаю, разламывает на две половинки, как яблоко.

— Я пел, закрыв глаза, — сказал он, — потому что избегал популярности: она — западная. Начинаешь работать на публику, боясь, однажды заглянув ей в глаза, прочесть разочарование. Я вглядывался в единственное зеркало на свете, которое заслуживает этого, — зеркало работы.

Он никак не мог закурит. И хрустящие папироски, выскальзывая из рук, падали на белый лист бумаги...

Т. ХОРОШИЛОВА.

ЭТОТ СИНИЙ АПРЕЛЬ...

Он снова замолк. Задумался. Я попросила рассказать, как Анчаров начинал.

— Моя первая песня была на слова Александра Грина. Потом писал на свои стихи. Когда в Москву приехала вдова Грина, ей сказали, что где-то есть мальчик, который пишет песни на слова ее покойного мужа. Она захотела со мной познакомиться. Я ее ждал в каком-то одноэтажном доме на Таганке, представляя, что распахнется дверь и войдет изящная загадочная незнакомка. Но увидел совершенно другую женщину, даже отдаленно не напоминавшую гриновскую героиню. Я был разочарован. Я спел ей песню, и она заплакала. И я понял, что она-то и есть настоящая героиня Грина, потому что была его родной душой. Когда она ушла, я навсегда понял, что нужно для обновления души.

— Что?

— Восхищение. От любви до ненависти один шаг. Но только художник знает, что от ненависти до любви столько же.

...Однажды Анчаров услышал пленку с записью песен, голос исполнителя которых его сильно поразил.

— Я спросил: кто этот парень? — вспоминает он. — Мне ответили: Владимир Высоцкий. Вскоре мы встретились в московском Доме ученых на каком-то мероприятии. Он сидел в противоположном конце зала. И мне интересно было за ним наблюдать. Кто-то шепнул ему на ухо и кивнул на меня. Владимир подошел. На лице сдержанная улыбка, за спиной — гитара. «Так это вы и есть Анчаров?». Весь вечер мы проговорили. Потом начался концерт, в котором мы оба участвовали. Перед нами спела песня какая-то незнакомая женщина, почему-то читая слова по бумажке. Меня это поразило: ведь песня — это кусок твоей жизни. Моя песня, например, вышла из благуши!

Анчаров родился и вырос на Благоуше. Благоуша была окраиной Москвы. От Благоуши потом осталась тихая улица — такая тихая, что, когда днем раздавался вопль: «Машина!», с тротуаров кидались за детьми женщины, и по опустевшей мостовой медленно тархтела цистерна «Молоко». Время было голодное и изпанамоновское. Благоуша — текстильная, воровская. Отец строил первую радиостанцию имени Коминтерна. На строительство привезли первые мотки проволоки, и в ту же ночь их украл.

Потом Благоуша из его песен ушла. Потому что пришла война. В самый первый ее день почему-то долго не загорали фонарей. И в синих сумерках белели прямоугольники листов от нападения фашистов.

— Как ехал на фронт, не запомнил — все время спал. Очнулся на какой-то станции. Привели в землянки. Лил дождь. Стали топить печи ящиками из-под патронов. В одном ящике оказался снаряд. Солдату пробило горло. Первая смерть. Мелькнуло: «Вот оно, началось». Утром увидел идущего навстречу солдата — одной рукой держал другую, на руке кисти нет, а во рту сухарь.

«...И сказал господе: «Эй, ключари, отворите ворота в сад. Даю команду от зари до зари в рай пропускать десант...»

Анчаров остался живой и вернулся в Москву. Как-то перед войной он узнал о правде, по которому можно было проверить, можешь ли



окончить институт и овладеть стилем «а ля прима», мог писать под кого угодно: под Матисса или Гогена. Не мог писать только «под самого себя». И тогда он решил, что пять лет учебы ему были отпущены на эксперимент.

— Человек интересен непохожестью. Нельзя, чтобы все были одинаковы, как доски в заборе. Ремеслуху любит школу, а искусство — художника.

В Суриковском институте был декоративный факультет. Попасть на него было равнозначно профнепригодности. И пришел на этот факультет преподаватель Михаил Иванович Курилко. Седой, как лунь. С черной повязкой через глаз, который, говорили, он потерял на дуэли до революции. Когда он появился на декоративном факультете, туда потянулись люди. Что изменилось?

— О, просто он умен критиковать. Раньше чью-нибудь семестровую композицию обсуждали так: метр ставил ее на стул, садился напротив, руки в бока, потом поднимал два пальца: сверху вот настолько убрать, слева фигуру замазать, справа дерево отодвинуть. Почему? Что? Черт его знает! А у Курилко все было по-другому. Он тоже ставил работу на стул, прищуривался. «Понимаете ли, голубчик», — говорил он с польским акцентом, — у вас в нижнем левом углу прелестный кулсочек». И — все. Ободренный студент уносил этот холст, зная, как надо работать дальше. Если художника похвалить за то, что ему удалось, остальное он додумает сам. Курилко говорил: «Художнику нужны три вздчи: первая вздч — похвала, вторая вздч — похвала, третья вздч — похвала».

Анчарова тогда больше ругали. Можно, конечно, было добиться успеха, выисывая что-нибудь конъюнктурное. Этот путь он не признавал и дерзко писал своего «Легуна» — деревенского Инара, яростно пахавшего краску, он мечтал об анварели и всю жизнь работал маслом. Анварель — самоцвет за самоцветом. Для этого нужно было, чтобы самоцветы были в душе. У него же внутри шла сплошная болтанка.

Он закончил Суриковский, понимая, что в живописи себя проглядел. И нужно было искать себя в чем-то заново. Он и раньше круто сворачивал в сторону. Обочин не терпел. А тут стал пробовать «сочинять» оперу. Знакомый композитор привез на его дачу какое-то допотопное из проката пианино, и они несколько суток бегали вокруг него всклокоченные и небритые, пытаясь изобразить в музыке звуки большого города. Так было задумано. Опера называлась «Рыжая лгуния и солдат». Ее потом поставил театр в специальном по-